

ПУТЕШЕСТВИЕ К СЕРДЦЕВИНЕ КРАСОТЫ



Никто не спрашивал... А я и не отвечаю, но делюсь только своим, сокровенным издавна, даже и от себя самого отчасти – сокровенным. Сам себе прежде никогда не задавал этого вопроса, но вынашивал его ощущение глубоко в груди: а есть ли образ – икона у моей Родины, истинной и подспудной – Руси Святой? Неужто же образ этот – «долготерпеливые бедные селенья родного края в смиренной наготе и в обрамлении скудной природы – исхоженные Утешителем – Царём Небесным в рабском виде со Святыми Дарами вдоль, да поперёк...» Всё существо моё совершенно отказывалось принимать только этот образ Руси Святой, - потерянной нищенки, сирой и у-Богой, едва прикрытой стыдливо ветхими ризами... Святой в юродливости своего безумствования. Пусть подобный образ сияет в одном из алтарей Покровского храма на площади Красной, где блаженный Василий пламенем опаляющей наготы своей освящает престол нищетой облагодатствованной, оглаголанной, пророчествующей, открывающей волю Божию и произволение. Это пламя юродства венчает в сонме святых своим именованием затейливые пряничные маковки – главы святая-святых Руси под открытым, отверстым небом. Но, Бог даст, выпишусь об этом в другой раз. Нынче моим сердечным очам образ Васильевского Покровского храма ещё не открывался на вопрошение изнутри моего естества об образе Святой Руси, близком именно мне, грешному. Пусть святость этого храма, в благоухающей, чарующей, весёлой и затейливой красоте – не отпускает, она затейлива, но ясна, величава и безусловна. Но не этот образ пробуждается во мне, если уста именуют (не знаменуют ли в пространстве звука?) единственно важное по-настоящему, единое на потребу теперь: Святая Русь. Да не изнесу вовне всеу это имя, да не про-изнесу его изнутри, из глубины своей оскудевающей без плача о Рае утраченном, о

домовине осиротелой, поджидающей поселенца своего к великому таинству Воскрешения...

Возвышенно, красиво и просторно
Не прикоснуться словом к слову «Русь», -
Тотчас душа заголосит соборно,
Оставит разум суетный и гордый
И плачем изольётся боль и грусть.

А тело – навзничь упадёт, пустое,
В объятия сиреней, лопухов...
Не мудрствуя житейское, простое, -
Не умершее и не холостое, -
Притихшее, без песен, без стихов.

Душа – блудница, что тебя утешит, -
Смертельна рана, неизбывна боль.
Лишь солнце Рим свой горний само-держит.
А наш, последний, ненадолго, - где же? –
Укрыли небо тучи над тобой.

Душа всё не уймётся, причитая.
А к телу подползают муравьи.
И силы входят в землю, тают, тают...
Лопух растёт, сирень благоухает,
А жизни нет, как в «Спасе на крови».

Не вымолвить просторно и высоко, -
Лишь выплакаться горько, горячо.
Но се! – просвет меж туч, и лучик – зорко.
«Восстань, Антоний! тебя били столько...
Я видел...» И десница на плечо.

Иной пробуждается образ откликом на прорастающее изнутри вопрошение. Мне думается даже, что с самого раннего детства образ этот являлся уже в самых радостных, самых благоуханных сновидениях. Образ не осознанный, не понятный, истаивающий при пробуждении в жизнь детскую, отроческую, взрослую... обыденную. Неизменно вносил он в глубины сущностные и в повседневное бесчувствие ощущение полноты и затаённой радости, едва ли осознаваемые. Засыпая и встречая его вновь в повторяющемся, сокровенно делясь с ним, конечно же, узнавал, прикинул к нему, знакомцу давнему, не называвшему себя по имени. Пусть не часто возвращался он в сновидения, но возвращался и приглашал в радость свою тихую, неприметную, стелящуюся чинно и светло... Довольно преуготовления, расскажу о нём, восставшем в реальности со-бытия и извлечшим из памяти так хорошо уже знакомое из дальнего детства, пережитое многократно. Это была... дорога, нет, скорее – тропинка, но широкая такая, надёжная, не

топкая, не чавкающая грязью под ногами. Не наезженная, не битая колёсами, да полозьями. Пешеходная тропа, путь шествующих. Шёл ли я когда-то именно по ней в сновидениях, пред-ощущениях своих? Может, струился как-то иначе над нею, извивающейся плавно по чуть всхолмлённой равнине огромного заливного луга. Быть может, в детских сновидениях всё происходило в местах невыразимо похожих. А может быть у снов и этой вот – осязаемой теперь тропы был единый перво – образ, постигаемый различно... пред-ощущаемый измальства. Вот она теперь, тропинка, - то исчезает перед глазами в неглубоких складках рельефа, то появляется, но уже дальше и тоньше, всё отчётливее вовлекающей в себя, изводящей собою. И впереди – церковь, небольшая, белая. Стану ли тут говорить о красоте? Не унижу словом и чахлым эпитетом пережитого, восчувствованного. Как часто привычное, наслышанное, наговоренное слово оказывается лживым по изречению своём. «Мысль изреченная» и действительно почти всегда на грани лжи, на грани невозможности выразить полноту смыслов, невместимых в обыденном слове. А храм – бел, бел совершенно. И далеко – далеко видится он шествующему тропинкой: вначале – чуть больше точки, вмещающей узнаваемый силуэт, медленно и чинно растущий перед глазами приближающегося к нему. Закон перспективы? И самим помыслом таковым – низвергаются Небеса оземь, опошляя, выхолащивая духовную полноту символа. Скорее и более – закон жизни духовной и путей человеческих – закон, правило. Не стану, да и не смогу, не посмею его формулировать. Знаю только твёрдо, что есть он, этот закон, неоспоримый совершенно.

Тропа вьётся плавно, величественно, целе-устремлённо... целомудренно, - отчего – то это слово кажется подходящим здесь. Там, где тропа теряется из виду, - не возникло ли чуждым веянием недо-верие, сомнение в том, что обязательно будет дальше, как неизбежность и неотстранимость милости Господней к нашему пути... не прилив ли малодушия: а не исчезнет ли насовсем изменчивая, не торная - она, не обетованная, не гарантированная никак?.. Но взойдёшь на очередной невысокий холм, и тропа вынырнет снова, - из небытия ли? А храм перед глазами всегда, куда бы ни ступил, - только бы не сойти с тропинки, – не исчезнет храм белый, неизменный. Белый и неизменный настолько, что всё окружающее его: и луг заливной, и небо само, и шествующий, чувствующий, желающий его представляются чем-то зыбким, шевелящимся, переменчивым, словно в мареве некоем. И тучи низки, даже не тучи вовсе, а слоистая, чуть морозящая, серая и склизкая жуть. И лужи - топи, непролазные почти. Беспутьца вокруг, сразу за тропинкой, совсем близко, – подстерегает путника оступившегося, отступившего, торопливого, невнимательного, самонадеянного. И цвета вокруг – жалкие, неутешные, линиялой поздней безнадежной осени. Всё оттенки печального.

А храм – бел и отчётлив. Это деревья вдали сливаются друг с другом. Это облачность безлика, безымянна и безжалостна. Это вечер скорый неотвратим и время, что воды текущие... Храм – бел, как Лебедь пушкинская, поверх текучих вод переменчивого мира и не от мира сего, - поверх... и в нём же – осязаемой, совершенной своей реальностью и гармонией формы, рукотворной ли. Ужели перед нами – дивный плод одной только гармонии «золотого сечения»? Это отозвалось бы веянием от прохладного ума. А здесь – тепло, не от ума одного, но само явление теплоты Божьей, радость вносящей и непреходящей вовек. Как сказали бы греческие мудрецы, - сама парусия, явственное пришествие Господа в конце времён и по истечении сроков. Не из мира нашего это, но низведено сюда, долу, из мира за-небесного, сокрытого моросью теперь, да этой видимой

осенью, невзрачнейшей из возможных. Нет золота в куполе, венчающем храм. В кресте лишь – золото, цвет славы господней, крестной, - в ключе, отверзающем Небо, ключе окровавленном и золотом,. И не различить бы его издали сквозь завесу вечеряющего осеннего пространства, но милостью мгновения знаешь точно о золоте креста, открывшемся в самом начале тропы. Будто путник новоначальный на пути своём, был обнадёжен радостью и внятным уверением. Это первое ощущение, открывшееся, когда храма было ещё не отделить отчётливо от фона смешивающейся мороси и дальнего у горизонта леса. Тогда вдруг единственный раз на всём пути, неведь откуда – явился внезапный и краткий просвет в тучах, в мороси. Реальность обступившая впустила солнечную улыбку, - Вестника ли, просиявшего над куполом и ниспославшего вспыхнувший отсвет среди мрака ноябрьского. Отсвет ясный, уверяющий, вспыхнул тогда чуть выше тела и главы храма в одеждах белых, как свет. Миг един лучезарный и пронзительный. Именно этот миг и восчувствовался, как средоточие, сама сердцевина Красоты веселящей, обнадёживающей, возводящей к себе, осмысливающей движение... спасающей – Красоты.

И вновь сомкнулись сонмища слоистые и безрадостные. Но что исчерпает, что извести теперь сможет ведение полноты и ясности света, поселившееся уже с самых первых, робких шагов по тропе. И совсем неважно стало тогда, полыхнёт ли светом своим золото креста хоть раз ещё на пути. Останется ли он только лишь в памяти - неоспоримым уверением любопытной десницы очей пытливых? - совсем не важно...

Так и приблизились к самым стенам. По наружным фасадам – рельефы райских кущей, приглашающих внутрь, добрые, улыбчивые львы, совсем не хищные, едва ли ядящие плоть. Давид – Песнопевец, торжествующий во святости... Если всё это снаружи – о внутреннем умолкает язык совершенно - таинство там сокровенное внешнему и совершенно отворённое верным, осенённым сотаинникам союза Любви. И ещё открылось, едва ли уверением и вдохновением случайным. У крохотного и глубокого рукотворного озерца возле храма, ископанного в века былинные, незапамятные –поверхность водной глади покрылась первым ледовым «салом» - шугой с примесью пыли, листьев, сучьев, мусора даже. И раздвинул ветер, подобно ангелу у купели Овчей, начавшийся ледостав, следы недостойнства человеческого, щепы древес, посекаемых ветрами. Будто мановением незримого чуткого крыла разошёлся первый лёд, опять же тропинкой, извивистой и плавной, чистой такой тропинкой по воде, от противоположного берега озера к высокому берегу у храма. И небо отразилось в нём – голубое! светящееся внятным откровением сквозь облака. И да простит читающий этот текст красное словцо, - лжи, да нелюбви нет в нём.

Доносится шёпот благоговейный, отрывчато, - о священнике храма, убиенном в лета оны и утопленном врагами Божиими в рукотворном озере возле храма со Святыми Дарами. Изменилось и исполнилось непознаваемого - озеро, приняв свидетеля Божиего и Дары Святые - в себя. Не это ли озерцо – Светлояр-озеро предания икон словесных и белые одежды храма - из него – до конца дней на поверхности вод текучего времени. У самых стен церкви ощутил как-то нутром, что тучи тягучие, сочащиеся липкой моросью за шиворот, будто наполнились глубоким светом, вопреки подступающему вечеру, набухающему сумраку. Не так ли силится проявить себя, дать себя жаждущим сырм - Покров – над лугом заливным у притока Клязьмы, над речушкою Нерль, над... да что там

– и в ширь, по всему окоёму, и выше – распротёртый - Покров. И над временами минувшими, и текущими теперь... втекающими в грядущее.

Заслушаешься глубиной души переливами звуков этих имён, ненасытно, приемлешь, буквально что обонянием, - впускаешь в свою глубину полноту благоуханно раскрывающихся смыслов... и смахнёшь влагу с ресниц, мешающую ещё и ещё раз увидеть, оборачиваясь, храм удаляющийся. Вот и встретился, - в яви ли? – сон из далёкого, ещё не крещённого даже - детства. Так ли в движущемся происходящем открывалось живущее глубинно и неизменно, - не от рождения ли? – сокровенное до времени ведение образа – моего – Святой Руси. Воистину, не во мне одном так - отзвывается, так наворачивается влагой слёзной внезапный отклик видимому, восчувствованному. К чему бы всё, если открывающееся лишь ко мне – одному, неразделённо ни с кем. Помыслилось внезапно: запечатлённостью образа Своего - Сам Господь воображает Русь Своей Святостью, привнесённой от купели днепровской до заливных лугов Нерли из рода – в род наш. Запечатлён в самую сердцевину образом - род, узнающий ближних по этой печати Христовой в сердце. Поверю радости, вспыхнувшей от этой мысли, пришедшей на ум, хоть на миг един, - утолюсь и утешусь ею, удаляясь.